

ВЛАДИМИР + ВОЙНОВИЧ =

ЖИЗНЬ И



необычайные

приключения

солдата

ИВАНА ЧОНКИНА

АРКАДИЙ АВЕРЧЕНКО

*рукопись*  
ножей

в спину РЕВОЛЮЦИИ

## Annotation

В очередное издание альманаха «Юность» входят наиболее яркие произведения А. Аверченко и В. Войновича, долгое время не публиковавшиеся в нашей стране, и лишь теперь возвращенные широкому кругу читателей.

---

- [Аркадий Аверченко](#)
  - [Предисловие](#)
  - [Фокус великого кино](#)
    -
  - [Поэма о голодном человеке](#)
    -
  - [Трава, примятая сапогом](#)
    -
  - [Чертово колесо](#)
    - [I](#)
    - [II](#)
    - [III](#)
    - [IV](#)
  - [Черты из жизни рабочего Пантелея Грымзина](#)
    -
  - [Новая русская сказка](#)
    - [\(Вместо предисловия\)](#)
    - [Сказка о Красной Шапочке, об одном заграничном мальчике и о Сером Волке](#)
  - [Короли у себя дома](#)
    -
  - [Усадьба и городская квартира](#)
    -
  - [Хлебушко](#)
    -
  - [Эволюция русской книги](#)
    - [Этап первый \(1916 год\)](#)
    - [Этап второй \(1920 год\)](#)

- [Этап третий](#)
  - [Этап четвертый](#)
  - [Этап пятый](#)
  - [Этап шестой](#)
  - [Русский в Европах](#)
    -
  - [Осколки разбитого вдребезги](#)
    -
  - [notes](#)
    - [1](#)
-

**Аркадий Аверченко**

**Дюжина ножей в спину революции**

## Предисловие

Может быть, прочтя заглавие этой книги, какой-нибудь сердобольный читатель, не разобрав дела, сразу и раскудахчется, как курица:

— Ах, ах! Какой бессердечный, жестоковыйный молодой человек — этот Аркадий Аверченко!! Взял да и воткнул в спину революции ножик, да и не один, а целых двенадцать!

Поступок — что и говорить — жестокий, но давайте любовно и вдумчиво разберемся в нем.

Прежде всего, спросим себя, положив руку на сердце:

— Да есть ли у нас сейчас революция?..

Разве та гниль, глупость, дрянь, копоть и мрак, что происходит сейчас, — разве это революция?

Революция — сверкающая прекрасная молния, революция — божественно красивое лицо, озаренное гневом Рока, революция — ослепительно яркая ракета, взлетевшая радугой среди сырого мрака!..

Похоже на эти сверкающие образы то, что сейчас происходит?..

Скажу в защиту революции более того — рождение революции прекрасно, как появление на свет ребенка, его первая бессмысленная улыбка, его первые невнятные слова, трогательно умильные, когда они произносятся с трудом лепечущим, неуверенным в себе розовым язычком...

Но когда ребенку уже четвертый год, а он торчит в той же колыбельке, когда он четвертый год сосет свою всунутую с самого начала в рот ножку, превратившуюся уже в лапу довольно порядочного размера, когда он четвертый год лепечет те же невнятные, невразумительные слова, вроде: «совнархоз», «уезмельком», «совбур» и «реввоенком» — так это уже не умильный, ласкающий глаз младенец, а, простите меня, довольно порядочный детина, впавший в тихий идиотизм.

Очень часто, впрочем, этот тихий идиотизм переходит в буйный, и тогда с детинкой никакого сладу нет!

Не смешно, а трогательно, когда крохотный младенец протягивает к огню розовые пальчики, похожие на бутылочки, и

лепечет непослушным языком:

— Жижа, жижа!.. Дядя, дай жижу...

Но когда в темном переулке встречается лохматый парень с лицом убийцы и, протягивая корявую лапу, бормочет: «А ну дай, дядя, жижи, прикурить сигарки или скидывай пальто», — простите меня, но умиляться при виде этого младенца я не могу!

Не будем обманывать и себя и других; революция уже кончилась, и кончилась она давно!

Начало ее — светлое, очищающее пламя, середина — зловонный дым и копоть, конец — холодные обгорелые головешки.

Разве мы сейчас не бродим среди давно потухших головешек — без крова и пищи, с глухой досадой и пустотой в душе.

Нужна была России революция?

Конечно, нужна.

Что такое революция? Это — переворот и избавление.

Но когда избавитель перевернуть — перевернул, избавить — избавил, а потом и сам так плотно уселся на ваш загорбок, что снова и еще хуже задыхаетесь вы в предсмертной тоске и судороге голода и собачьего существования, когда и конца-краю не видно этому сиденью на вашем загорбке, то тогда черт с ним и с избавителем этим! Я сам, да, думаю, и вы тоже, если вы не дураки, — готовы ему не только дюжину, а даже целый гросс «ножей в спину».

Правда, сейчас еще есть много людей, которые, подобно плохо выученным попугаям, бормочут только одну фразу:

— Товарищи, защищайте революцию!

Позвольте, да вы ведь сами раньше говорили, что революция — это молния, это гром стихийного Божьего гнева... Как же можно защищать молнию?

Представьте себе человека, который стоял бы посреди омраченного громовыми тучами поля и, растопырив руки, вопил бы:

— Товарищи! Защищайте молнию! Не допускайте, чтобы молния погасла от рук буржуев и контрреволюционеров!!

Вот что говорит мой собрат по перу, знаменитый русский поэт и гражданин К. Бальмонт, мужественно боровшийся в прежнее время, как и я, против уродливостей минувшего Царизма.

Вот его буквальные слова о сущности революции и защите ее:

«Революция хороша, когда она сбрасывает гнет. Но не революциями, а эволюцией жив мир. Стройность, порядок — вот что нужно нам, как дыхание, как пища. Внутренняя и внешняя дисциплина и сознание, что единственное понятие, которое сейчас нужно защищать всеми силами, это понятие Родины которая выше всяких личностей и классов и всяких отдельных задач, — понятие настолько высокое и всеобъемлющее, что в нем тонет все, и нет разнствующих в нем, а только сочувствующие и слитно работающие — купец и крестьянин, рабочий и поэт, солдат и генерал».

«Когда революция переходит в сатанинский вихрь разрушения — тогда правда становится бесполезной или превращается в ложь. Толпами овладевает стихийное безумие, подражательное сумасшествие, все слова утрачивают свое содержание и свою убедительность. Если такая беда овладевает народом, он неизбежно возвращается к притче о бесах, вошедших в стадо свиней».

«Революция есть гроза. Гроза кончается быстро и освежает воздух, и ярче тогда жизнь, красивее цветут цветы. Но жизни нет там, где грозы происходят непрерывно. А кто умышленно хочет длить грозу, тот явный враг строительства и благой жизни. И выражение „защищать революцию“, должен сказать, мне кажется бессмысленным и жалким. Настоящая гроза не нуждается в защите и подпорках. Уж какая же это гроза, если ее, как старушку, нужно закутывать в ватное одеяло».

Вот как говорит К. Бальмонт... И в одном только он ошибается — сравнивая нашу «выросшую из пеленок» революцию с беспомощной старушкой, которую нужно кутать в ватное одеяло.

Не старушка это, — хорошо бы, коли старушка, — а полупьяный детина с большой дороги, и не вы его будете кутать, а он сам себя закутает вашим же, стащенным с ваших плеч, пальто.

Да еще и ножиком ткнет в бок.

Так такого-то грабителя и разорителя беречь? Защищать?

Да ему не дюжину ножей в спину, а сотню — в дикобраза его превратить, чтобы этот пьяный, ленивый сутенер, вцепившийся в наш загорбок, не мешал нам строить Новую Великую Свободную Россию!

Правильно я говорю, друзья-читатели? А?

И если каждый из вас не бестолковый дурак или не мошенник, которому выгодна вся эта разруха, вся эта «защита революции», — то

всяк из вас отдельно и все вместе должны мне грянуть в ответ:  
— Правильно!!!



## Фокус великого кино

Отдохнем от жизни.

Помечтаем. Хотите?

Садитесь, пожалуйста, в это мягкое кожаное кресло, в котором тонешь чуть не с головой. Я подброшу в камин угля, а вы закурите эту сигару. Недурной «Боливар», не правда ли? Я люблю, когда в полумраке кабинета, как тигровый глаз, светится огонек сигары. Ну, наполним еще раз наши рюмки темно-золотистым хересом — на бутылочке-то пыли сколькоросло — вековая пыль, благородная, — а теперь слушайте...

Однажды в кинематографе я видел удивительную картину: Море. Берег. Высокая этакая отвесная скала, саженей в десять. Вдруг у скалы закипела вода, вынырнула человеческая голова, и вот человек, как гигантский, оттолкнувшись от земли мяч, взлетел на десять саженей вверх, стал на площадку скалы — совершенно сухой — и сотворил крестное знамение так: сначала пальцы его коснулись левого плеча, потом правого, потом груди и, наконец, лба.

Он быстро оделся и пошел прочь от моря, задом наперед, пятясь, как рак. Взмахнул рукой, и окурок папиросы, валявшийся на дороге, подскочил и влез ему в пальцы. Человек стал курить, втягивая в себя дым, рождающийся в воздухе. По мере курения, папироса делалась все больше и больше и, наконец, стала совсем свежей, только что закуренной. Человек приложил к ней спичку, вскочившую ему в руку с земли, вынул коробку спичек, чиркнул загоревшуюся спичку о коробочку, отчего спичка погасла, вложил спичку в коробочку; папиросу, торчащую во рту, сунул обратно в портсигар, надулся — и плевок с земли вскочил ему прямо в рот. И пошел он дальше также задом наперед, пятясь, как рак. Дома сел перед пустой тарелкой и стаканом, вылил изо рта в стакан несколько плотков красного вина и принялся вилок таскать изо рта куски цыпленка, кладя их обратно на тарелку, где они под ножом срастались в одно целое. Когда цыпленок вышел целиком из его горла, подошел лакей и, взяв тарелку, понес этого цыпленка на кухню — жарить... Повар положил его на

сковородку, потом снял сырого, утыкал перьями, поводит ножом по его горлу, отчего цыпленок ожил и потом весело побежал по двору.

Не правда ли, вам понятно, в чем тут дело: это обыкновенная фильма, изображающая обыкновенные человеческие поступки, но пущенные в обратную сторону.

Ах, если бы наша жизнь была похожа на послушную кинематографическую ленту!..

Повернул ручку назад — и пошло-поехало...

Передо мной — бумага, покрытая ровными строками этого фельетона. Вдруг — перо пошло в обратную сторону — будто соскабливая написанное, и когда передо мной — чистая бумага, я беру шляпу, палку и, пятясь, выхожу на улицу...

Шуршит лента, разматываясь в обратную сторону.

Вот сентябрь позапрошлого года. Я сажусь в вагон, поезд дает задний ход и мчится в Петербург.

В Петербурге чудеса: с Невского уходят, забирая свои товары — селедочницы, огуречницы, яблочницы и невоюющие солдаты, торгующие папиросами... Большевистские декреты, как шелуха, облетают со стен, и снова стены домов чисты и нарядны. Вот во весь опор примчался на автомобиле задним ходом Александр Федорович Керенский. Вернулся?!

Крути, Митька, живей!

Въехал он в Зимний дворец, а там, глядишь, все новое и новое мелькание ленты: Ленин и Троцкий с компанией вышли, пятясь, из особняка Кшесинской, поехали задом наперед на вокзал, сели в распломбированный вагон, тут же его запломбировали и — укатила вся компания задним ходом в Германию.

А вот совсем приятное зрелище: Керенский задом наперед вылетает из Зимнего дворца — давно пора, — вскакивает на стол и напыщенно говорит рабочим: «Товарищи! Если я вас покину — вы можете убить меня своими руками! До самой смерти я с вами».

Соврал, каналья. Как иногда полезно пустить ленту в обратную сторону!

Быстро промелькнула февральская революция. Забавно видеть, как пулеметные пули вылетали из тел лежащих людей, как влетали они обратно в дуло пулеметов, как вскакивали мертвые и бежали задом наперед, размахивая руками.

Крути, Митька, крути!

Вылетел из царского дворца Распутин и покатыл к себе в Тюмень. Лента-то ведь обратная.

Жизнь все дешевле и дешевле... На рынках масса хлеба, мяса и всякого съестного дрязгу.

А вот и ужасная война тает, как кусок снега на раскаленной плите; мертвые встают из земли и мирно уносятся на носилках обратно в свои части. Мобилизация быстро превращается в демобилизацию, и вот уже Вильгельм Гогенцоллерн стоит на балконе перед своим народом, но его ужасные слова, слова паука-кровопийцы об объявлении войны, не вылетают из уст, а, наоборот, плотает он их, ловя губами в воздухе. Ах, чтоб ты ими подавился!..

Митька, крути, крути, голубчик!

Быстро мелькают поочередно четвертая дума, третья, вторая, первая, и вот уже на экране четко вырисовываются жуткие подробности октябрьских погромов.

Но, однако, тут это не страшно. Громилы выдергивают свои ножи из груди убитых, те шевелятся, встают и убегают, летающий в воздухе пух аккуратно сам слетается в еврейские перины, и все принимает прежний вид.

А что это за ликующая толпа, что за тысячи шапок, летящих кверху, что это за счастливые лица, по которым текут слезы умиления?!

Почему незнакомые люди целуются, черт возьми!

Ах, это Манифест 17 октября, данный Николаем II свободной России...

Да ведь это, кажется, был самый счастливый момент во всей нашей жизни!

Митька! замри!! Останови, черт, ленту, не крути дальше! Руки поломаю!..

Пусть замрет. Пусть застынет.

— Газетчик! Сколько за газету? Пятачок?

— Извозчик! Полтинник на Конюшенную, к «Медведю». Пошел живей, гривенник прибавлю. Здравствуйте! Дайте обед, рюмку коньяку и бутылку шампанского. Ну, как не выпить на радостях... С манифестом вас! Сколько с меня за все? Четырнадцать с полтиной? А

почему это у вас шампанское десять целковых за бутылку, когда в «Вене» — восемь? Разве можно так бессовестно грабить публику?

Митька, не крути дальше! Замри. Хотя бы потому остановись, что мы себя видим на пятнадцать лет моложе, почти юношами. Ах, сколько было надежд, и как мы любили, и как нас любили.

Отчего же вы не пьете ваш херес! Камин погас, и я не вижу в серой мгле — почему так странно трясутся ваши плечи: смеетесь вы или плачете?

## Поэма о голодном человеке

Сейчас в первый раз я горько пожалел, почему мама в свое время не отдала меня в композиторы.

То, о чем я хочу сейчас написать, ужасно трудно выразить в словах... Так и подмывает сесть за рояль, с треском опустить руки на клавиши — и все, все как есть, перелить в причудливую вереницу звуков, грозных, тоскующих, жалобных, тихо-стонущих и бурно-проклинающих.

Но немые и бессильны мои негибкие пальцы, но долго еще будет молчать хладнокровный, неразбуженный рояль, и закрыт для меня пышный вход в красочный мир звуков...

И приходится писать мне элегии и ноктюрны привычной рукой — не на пяти, а на одной линейке, — быстро и привычно вытягивая строку за строкой, перелистывая страницу за страницей. О, богатые возможности, дивные достижения таятся в слове, но не тогда, когда душа морщится от реального прозаического трезвого слова, — когда душа требует звука, бурного, бешеного движения обезумевшей руки по клавишам...

Вот моя симфония — слабая, бледная в слове...

Когда тусклые серо-розовые сумерки спустятся над слабым, голодным, устало смежившим свои померкшие, свои сверкающие прежде очи — Петербургом, когда одичавшее население расползется по угрюмым берлогам коротать еще одну из тысячи и одной голодной ночи, когда все стихнет, кроме комиссарских автомобилей, бодро шныряющих, проворно, как острое шило, вонзающихся в темные безглазые русла улиц, — тогда в одной из квартир Литейного проспекта собираются несколько серых бесшумных фигур и, пожав друг другу дрожащие руки, усаживаются вокруг стола пустого, освещенного гнусным воровским светом сального огарка.

Некоторое время молчат, задыхающиеся, усталые от целого ряда гигантских усилий: надо было подняться по лестнице на торой этаж, пожать друг другу руки и придвинуть к столу стул — это такой нестерпимый труд!..

Из разбитого окна дует... но заткнуть зияющее отверстие подушкой уж никто не может — предыдущая физическая работа истощила организм на целый час.

Можно только сидеть вокруг стола, оплывшей свечи и журчать тихим, тихим шепотом...

Переглянулись.

— Начнем, что ли? Сегодня чья очередь?

— Моя.

— Ничего подобного. Ваша позавчера была. Еще вы рассказывали о макаронах с рубленой говядиной.

— О макаронах Илья Петрович рассказывал. Мой доклад был о панированной телячьей котлете с цветной капустой. В пятницу.

— Тогда ваша очередь. Начинайте. Внимание, господа!

Серая фигура наклонилась над столом еще ниже, отчего черная огромная тень на стене переломилась и заколебалась. Язык быстро, привычно пробежал по запекшимся губам, и тихий хриплый голос нарушил могильное молчание комнаты.

— Пять лет тому назад — как сейчас помню — заказал я у «Альбера» навагу фрит и бифштекс по-гамбургски. Наваги было 4 штуки, — крупная, зажаренная в сухариках, на масле, господа! Понимаете, на сливочном масле, господа. На масле! С одной стороны лежал пышный ворох поджаренной на фритюре петрушки, с другой — половина лимона. Знаете, этаким лимон ярко-желтого цвета и в разрезе посветлее, кисленький такой разрез... Только взять его в руку и подавить над рыбиной... Но я делал так: сначала брал вилку, кусочек хлебца (был черный, был белый, честное слово) и ловко отделял мясистые бока наваги от косточки...

— У наваги только одна косточка, посредине, треугольная, — перебил, еле дыша, сосед.

— Тсс! Не мешайте. Ну, ну?

— Отделив куски наваги, причем, знаете ли, кожица была поджарена, хрупкая этакая и вся в сухарях... в сухарях, — я наливал рюмку водки и только тогда выдавливал тонкую струю лимонного сока на кусок рыбы... И я сверху прикладывал немного петрушки — о, для аромата только, исключительно для аромата, — выпивал рюмку и сразу кусок этой рыбки — гам! А булка-то, знаете, мягкая,

французская этакая, и ешь ее, ешь, пышную, с этой рыбкой. А четвертую рыбку я даже не доел, хе-хе!

— Не доели?!!

— Не смотрите на меня так, господа. Ведь впереди был бифштекс по-гамбургски — не забывайте этого. Знаете, что такое — по-гамбургски?

— Это не яичница ли сверху положена?

— Именно!! Из одного яйца. Просто так, для вкуса. Бифштекс был рыхлый, сочный, но вместе с тем упругий и с одного боку побольше поджаренный, а с другого — поменьше. Помните, конечно, как пахло жареное мясо, вырезка — помните? А подливки было много, очень много, густая такая, и я любил отломив корочку белого хлеба, обмакнуть ее в подливочку и с кусочком нежного мяса — гам!

— Неужели жареного картофеля не было? — простонал кто-то, схватясь за голову, на дальнем конце стола.

— В том-то и дело, что был! Но мы, конечно, еще не дошли до картофеля. Был также настроганный хрен, были капорцы — остренькие, остренькие, а с другого конца чуть не половину соусника занимал нарезанный такими ромбиками жареный картофель. И черт его знает, почему он так пропитывается этой говяжьей подливкой. С одного бока кусочки пропитаны, а с другого совершенно сухие и даже похрустывают на зубах. Отрежешь, бывало, кусочек мяса, обмакнешь хлеб в подливку, да зацепив все это вилкой, вкупе с кусочком яичницы, картошечкой и кружочком малосоленного огурца...

Сосед издал полузаглушенный рев, вскочил, схватил рассказчика за шиворот и, тряся его слабыми руками, закричал:

— Пива! Неужели ты не запивал этого бифштекса с картофелем — крепким пенистым пивом!

Вскочил в экстазе и рассказчик.

— Обязательно! Большая тяжелая кружка пива, белая пена наверху, такая густая, что на усах остается. Проплотишь кусочек бифштекса с картофелем, да потом как вопьешься в кружку...

Кто-то в углу тихо заплакал:

— Не пивом! не пивом нужно было запивать, а красным винцом, подогретым! Было там такое бургундское, по три с полтиной

бутылка... Налъешь в стопочку, поглядишь на свет — рубин, совершенный рубин...

Бешеный удар кулаком прервал сразу весь этот плывший над столом сладострастный шепот.

— Господа! Во что мы превратились — позор! Как мы низко пали! Вы! Разве вы мужчины? Вы сладострастные старики Карамазовы! Источая слюну, вы смакуете целыми ночами то, что у вас отняла кучка убийц и мерзавцев! У нас отнято то, на что самый последний человек имеет право — право еды, право набить желудок пищей по своему неприхотливому выбору — почему же вы терпите? Вы имеете в день хвост ржавой селедки и 2 лота хлеба, похожего на грязь, — вас таких много, сотни тысяч! Идите же все, все идите на улицу, высыпайте голодными отчаянными толпами, ползите, как миллионы саранчи, которая поезд останавливает своим количеством, идите, навалитесь на эту кучку творцов голода и смерти, перегрызите им горло, затопчите их в землю, и у вас будет хлеб, мясо и жареный картофель!!

— Да! Поджаренный в масле! Пахнувший! Ура! Пойдем! Затопчем! Перегрызем горло! Нас много! Ха-ха-ха! Я поймаю Троцкого, повалю его на землю и проткну пальцем глаз! Я буду моими истоптанными каблуками ходить по его лицу! Ножичком отрежу ему ухо и засуну ему в рот — пусть ест!!

— Бежим же, господа. Все на улицу, все голодные!

При свете подлого сального огарка глаза в черных впадинах сверкали, как уголья... Раздался стук отодвигаемых стульев и топот ног по комнате.

И все побежали... Бежали они очень долго и пробежали очень много: самый быстрый и сильный добежал до передней, другие свалились — кто на пороге гостиной, кто у стола столовой.

Десятки верст пробежали они своими окостеневшими, негнуцимыми ногами... Лежали, обессиленные, с полузакрытыми глазами, кто в передней, кто в столовой — они сделали, что могли, они ведь хотели.

Но гигантское усилие истощилось, и тут же все погасли, как растащенный по поленьям сырой костер.

А рассказчик, лежа около соседа, подполз к его уху и шепнул:



— А знаешь, если бы Троцкий дал мне кусочек жареного поросенка с кашей — такой, знаешь, маленький кусочек, — я бы не отрезывал Троцкому уха, не топтал бы его ногами! Я бы простил ему...

— Нет, — шепнул сосед, — не поросенок, а знаешь что?.. Кусочек пулярки, такой, чтобы белое мясо легко отделялось от нежной косточки... И к ней вареный рис с белым кисленьким соусом...

Другие лежащие, услышав шепот этот, поднимали жадные головы и постепенно сползались в кучу, как змеи от звуков тростниковой дудки...

Жадно слушали.

Тысяча первая голодная ночь уходила... Ковыляя, шествовало на смену тысяча первое голодное утро.

## Трава, примятая сапогом

— Как ты думаешь, сколько мне лет? — спросила небольшая девочка, перепрыгивая с одной ноги на другую, потряхивая темными кудрями и поглядывая на меня сбоку большим серым глазом...

— Тебе-то? А так я думаю, что тебе лет пятьдесят.

— Нет, серьезно. Ну, пожалуйста, скажи.

— Тебе-то? Лет восемь, что ли?

— Что ты! Гораздо больше: восемь с половиной.

— Ну?! Порядочно. Как говорится: старость не радость. Небось, и женишка уже припасла?

— Куда там! (Глубокая поперечная морщина сразу выползла откуда-то на ее безмятежный лоб.) Разве теперь можно обзаводиться семьей? Все так дорого.

— Господи, Боже ты мой, какие солидные разговоры пошли!.. Как здоровье твоей многоуважаемой куклы?

— Покашливает. Я вчера с ней долго сидела у реки. Кстати, хочешь, на речку пойдем, посидим. Там хорошо: птички поют. Я вчера очень комичную козявку поймала.

— Поцелуй ее от меня в лапку. Но как же мы пойдем на реку: ведь в той стороне, за рекой, стреляют.

— Неужели ты боишься? Вот еще глупый. Ведь снаряды не долетают сюда, это ведь далеко. А я тебе зато расскажу стих. Пойдем?

— Ну, раз стих — это дело десятое. Тогда не лень и пойти.

По дороге, ведя меня за руку, она сообщила:

— Знаешь, меня ночью комар как укусит, за ногу.

— Слушаю-с. Если я его встречу, я ему дам по морде.

— Знаешь, ты ужасно комичный.

— Еще бы. На том стоим.

На берегу реки мы преугодно у ourselves на камушке под развесистым деревцем. Она прижалась к моему плечу, прислушалась к отдаленным выстрелам, и снова та же морщинка озабоченности и вопроса, как гнусный червяк, всползла на чистый лоб.

Она потерлась порозовевшей от ходьбы щечкой о шершавую материя моего пиджака и, глядя остановившимися глазами на

невозмутимую гладь реки, спросила:

— Скажи, неужели Ватикан никак не реагирует на эксцессы большевиков?..

Я испуганно отодвинулся от нее и поглядел на этот розовый ротик с будто чуть-чуть припухшей верхней губкой, посмотрел на этот ротик, откуда только что спокойно вылетела эта чудовищная по своей деловитости фраза, и переспросил:

— Чего, чего?

Она повторила.

Я тихо обнял ее за плечи, поцеловал в голову и прошептал на ухо:

— Не надо, голубчик, об этом говорить, хорошо? Скажи лучше стихи, что обещала.

— Ах, стихи! Я и забыла. О Максе:

Максик вечно ноет,  
Максик рук не моет,  
У грязнухи Макса  
Руки, точно вакса.  
Волосы, как швабра,  
Чешет их не храбро...

— Правда, комичные стишки? Я их в старом «Задушевном Слове» прочитала.

— Здорово сработано. Ты их маме-то читала?

— Ну, знаешь, маме не до того. Прихварывает все.

— Что ж с ней такое?

— Малокровие. Ты знаешь, она целый год при большевиках в Петербурге прожила. Вот и получила. Жиров не было, потом эти... азотистые вещества тоже в организм не... этого... не входили. Ну, одним словом, — коммунистический рай.

— Бедный ты ребенок, — уныло прошептал я, прилаживая ей волосы.

— Еще бы же не бедный. Когда бежали из Петербурга, я в вагоне кроватку куклиную потеряла, да медведь пищать перестал. Не знаешь, отчего это он мог перестать пищать?

— Очевидно, азотистых веществ ему не хватило. Или просто саботаж.

— Ну, ты прямо-таки прекомичный! На мою резиновую собачку похож. А ты можешь нижней губой до носа достать?

— Где там! всю жизнь мечтал об этом — не удастся.

— А знаешь, у меня одна знакомая девочка достает; очень комично.

С противоположного берега дунуло ветерком, и стрельба сразу сделалась слышной.

— Вишь ты, как пулеметы работают, — сказал я, прислушиваясь.

— Что ты, братец, — какой же это пулемет? Пулемет чаще тарыхтит. Знаешь, совсем как швейная машина щелкает. А это просто пачками стреляют. Вишь ты: очередями жарят.

Ба-бах!

— Ого, — вздрогнул я, — шрапнелью ахнули. Ее серый лукавый глаз глянул на меня с откровенным сожалением:

— Знаешь, если ты не понимаешь — так уж молчи. Какая же это шрапнель? Обыкновенную трехдюймовку со шрапнелью спутал. Ты знаешь, между прочим, шрапнель, когда летит, так как-то особенно шуршит. А бризантный снаряд воеет, как собака. Очень комичный.

— Послушай, клоп, — воскликнул я, с суеверным страхом оглядывая ее розовые пухлые щечки, вздернутый носик и крохотные ручонки, которыми она в этот момент заботливо подтягивала спустившиеся к башмачкам носочки. — Откуда ты все это знаешь?!

— Вот комичный вопрос, ей-Богу! Поживи с мое — не то еще узнаешь.

А когда мы возвращались домой, она, забыв уже о «реагировании Ватикана» и «бризантных снарядах», щебетала, как воробей, задрав кверху задорный носик:

— Ты знаешь, какого мне достань котеночка? Чтоб у него был розовенький носик и черные глазки. Я ему голубенькую ленточку с малюсеньким таким золотым бубенчиком привяжу, у меня есть. Я люблю маленьких котенков. Что же я, дура! Я и забыла, что мой бубенчик был с маминым золотом в сейфе, и коммунисты его по мандату комфина реквизируют!

По зеленой молодой травке ходят хамы в огромных тяжелых, сапожищах, подбитых гвоздями. Пройдут по ней, примнут ее.

Прошли — полежал, полежал примятый, полураздавленный стебелек, пригрел его луч солнца, и опять он приподнялся и под теплым дыханием дружеского ветерка шелестит о своем, о малом, о вечном.

# **Чертово колесо**

— Усаживайся, не бойся. Тут очень весело.

— Чем же весело?

— Ощущение веселое.

— Да чем же веселое?

— А вот как закрутится колесо, да как дернет тебя с колеса, да как швырнет о барьер, так глаза в лоб выскочут! Очень смешно.

Это — разговор на «чертовом колесе»...

Несколько лет тому назад компания ловких предпринимателей устроила в Петербурге «Луна-Парк».

Я любил хаживать туда по причине несколько пикантной; в «Луна-Парке» я находил для своей коллекции дураков такие чудесные махровые экземпляры и в таком изобилии, как нигде в другом месте.

Вообще, «Луна-Парк» — это рай для дураков: все сделано для того, чтобы дураку было весело...

Подойдет он к выпуклому зеркалу, увидит трехаршинные ноги, будто выходящие прямо из груди, увидит вытянутое в аршин лицо — и засмеется дурак, как ребенок; сядет в «Веселую бочку», да как столкнут его вниз, да как почнет бочка стучаться боками о вертикально воткнутые по дороге бревна, да как станет дурака трясти, как дробинку в детской погремушке, круша ребра и ушибая ноги, — тут-то и поймет дурак, что есть еще беззаботное веселье на свете; и к «Веселой кухне» подойдет дурак, и тут он увидит, что это настоящая его, дуракова, тихая пристань. Впрочем, она не особенно тихая, эта пристань. Потому что «Веселая кухня» заключалась в том, что на расстоянии нескольких аршин от барьера на полках были расставлены бракованные тарелки, блюда, бутылки и стаканы, в которые дурак имеет право метать деревянными шарами, купив это завидное право и привилегию за рубль серебра. И прибыли-то дураку никакой не было — ни приза за разбитие тарелок ему не давали ни одобрения зрителей он не получал, потому что раскокать блюдо на трехаршинном расстоянии было легче легкого, — а вот поди ж ты — излюбленное это было дурацкое удовольствие — сокрушать десятки тарелок и бутылок... А из «Веселой кухни», разгорячив свою пылкую кровь, —

направлялся дурак для охлаждения прямехонько в «Таинственный замок»... Это было помещение, входя в которое вы должны были подготовиться ко всему: бредете ли вы по абсолютно темным узким коридорам, а вам тут и привидения, натертые фосфором, являются, и заушает вас невидимая рука, и скатываетесь вы по какой-то трубе вниз на какие-то мягкие мешки, а главное, когда вы, радостный, выходите наконец в залитый светом воздушный мостик, открытый глазам толпящейся внизу публики, — снизу дунет на вас таким ураганным ветром, что, если вы мужчина, пальто ваше взвивается выше к голове, как два крыла, шляпа бешено взлетает кверху, а если вы дама, то вся гривуазно настроенная публика ознакомится не только с цветом ваших подвязок, но и со многим другим, чему место не в политическом фельетоне, а на самой лучшей, крепкой, круто замешенной эротической странице специалиста по этим делам Михайлы Арцыбашева.

Вот что такое «Луна-Парк» — рай для дураков, ад для среднего, случайно забредшего туда человека, и — широкое необозримое поле научных наблюдений для вдумчивого человека, изучающего русского дурака в его нормальной, привычной и самой удобной обстановке.



## II

Приглядываюсь я к русской революции, приглядываюсь и — ой, как много разительно схожего в ней с «Луна-Парком» — даже жутко от целого ряда поразительно точных аналогий...

Все новое, революционное, по-большевистски радикальное строительство жизни, все разрушение старого, якобы отжившего, — ведь это же «Веселая кухня»! Вот тебе на полках расставлен старый суд, старые финансы, церковь, искусство, пресса, театр, народное просвещение — какая пышная выставка!

И вот подходит к барьеру дурак, выбирает из корзины в левую руку побольше деревянных шаров, берет в правую один шар, вот размахнулся — трах! Вдребезги правосудие. Трах! — в кусочки финансы. Бац! — и уже нет искусства, и только остается на месте какой-то жалкий покосившийся пролеткульте кий огрызок.

А дурак уже разгорячился, уже пришел в азарт — благо шаров в руках много — и вот летит с полки разбитая церковь, трещит народное просвещение, гудит и стонет торговля. Любо дураку, а кругом собрались, столпились посторонние зрители — французы, англичане, немцы — и только, знай, посмеиваются над веселым дураком, а немец еще и подзуживает:

— Ай, ловкий! Ну, и голова же! А ну, шваркни еще по университету. А долбани-ка в промышленность!..

Горяч русский дурак — ох, как горяч... Что толку с того, что, потом, когда очухается он от веселого азарта, долго и тупо будет плакать свинцовыми слезами и над разбитой церковью, и над сокрушенными вдребезги финансами, и над мертвой уже наукой, зато теперь все смотрят на дурака! Зато теперь он — центр веселого внимания, этот самый дурак, которого прежде и не замечал никто.

### III

А кто это там поехал вниз в «Веселой бочке», стучаясь боками о сотни торчащих тумб, теряя шляпу, круша ребра и ломая коленные чашечки? Ба! Это русский человек с семьей путешествует в наше веселое революционное время из Чернигова в Воронеж. Бац о тумбу — из вагона ребенок вылетел, бац о другую — самого петлюровцы выбросили, трах о третью — махновцы чемодан отняли.

А кто стоит перед кривым зеркалом и корчится не то от смеха, не то от слез, сам себя не узнавая... А это, видите, доверчивый человек подошел к непримиримой чужепартийной газете, и она его «отразила».

А этот «Таинственный замок» — где вас ведут по темным, как ночь, извилинам, где пугают вас, толкают, калечат и кажут вам разных леденящих душу своим видом чудовищ — не чрезвычайка ли это — самое яркое порождение Третьего Интернационала — потому что все интернационально сгруппировались там: и латыши, и русские, и евреи, и китайцы — палачи всех стран, соединяйтесь!..

## IV

Но самое замечательное, самое одурающе схожее — это «Чертово колесо»!

Вот вам февральская революция — начало ее, когда колесо еще не закрутилось... Посредине его, в самом центре, стоит самый замечательный «дурак» современности — Александр Керенский, и кричит он зычным митинговым голосом:

— Пожалуйста, товарищи! Делайте игру. Сейчас закрутим. Милюков! Садись, не бойся. Тут весело.

— Чем же весело?

— Ощущение веселое... А вот как закружит, да как начнет всех швырять к барьеру... Впрочем, ты садись в самый центр, около меня, — тогда удержишься... И ты, Гучков, садись — не бойся... Славно закрутим... Ну все сели? Давай ход! Поехала!

Поехала.

Несколько оборотов «Чертова колеса» — и вот уже ползет, с выпученными глазами, тщетно стараясь удержаться за соседа, — Павел Милюков.

Взззз! — свистит раскрученное колесо, быстро скользит по отполированной предыдущими «опытами» поверхности Милюков — трах — и больно стучается о барьер бедняга, вышвырнутый из центра непреодолимой центробежной силой.

А вот и Гучков пополз вслед за ним, уцепясь за рукав Скобелева... Отталкивает его Скобелев, но — поздно... Утеряна мертвая точка, и оба разлетаются, как пушинки от урагана.

— А! — радостно кричит Церетели, уцепясь за ногу Керенского. — Держись крепче, как я. Самые левые и самые правые летят, а мы — центр — удержимся...

Куда там! Уже оторвался и скользит Церетели, за ним Чхеидзе — эк их куда выкинуло — к самому барьеру, «на сей погибельный Кавказ порасшвыривало».

Радостно посмеивается Керенский, бешено вертясь в самом центре, — кажется, и конца не будет этому сладостному ощущению... Любо молодому главковерху. Но вот у ног его закрутился

бесформенный комок из трех голов и шести ног, называемый в просторечии — Гоцлибердан, — уцепился комок за Керенского, обвился вокруг его ноги, жалобно закричал главковерх, сдвинулся на вершок влево — но для чертова колеса достаточно и этого!..

Заскрипела полированная поверхность, и летит начальник, или, по-нынешнему, «комиссар чертова колеса», вверх тормашками. Не только к барьеру, а даже за барьер беднягу выкинуло, и грянулся он где-то не то в Лондоне, не то в Париже.

Расшвыряло, всех расшвыряло по барьеру чертова колеса, и постепенно замедляется его ход, и почти останавливается оно, а тут уже — глядь! — налезла на полированный круг новая веселая компания — Троцкий, Ленин, Нахамкис, Луначарский, и кричит новый «комиссар чертова колеса» — Троцкий:

— К нам, товарищи! Ближе! Те дураки не удержались, но мы-то удержимся! Ходу! Крути, валяй! Поехала!!

— Взззз!..

А мы сейчас стоим кругом и смотрим: кто первый поползет окорачь по гладкой полированной поверхности, где не за что уцепиться, не на чем удержаться, и кого на какой барьер вышвырнет.

Ах, поймать бы!

## Черты из жизни рабочего Пантелея Грымзина

Ровно десять лет тому назад рабочий Пантелей Грымзин получил от своего подлого, гнусного хозяина-кровопийцы поденную плату за 9 часов работы — всего два с полтиной!!!

— Ну, что я с этой дрянью сделаю?.. — горько подумал Пантелей, разглядывая на ладони два серебряных рубля и полтину медью... — И жрать хочется, и выпить охота, и подметки к сапогам нужно подбросить, старые — одна, вишь, дыра... Эх ты, жизнь наша распрокаторжная!!

Зашел к знакомому сапожнику: тот содрал полтора рубля за пару подметок.

— Есть ли на тебе крест-то? — саркастически осведомился Пантелей.

Крест, к удивлению ограбленного Пантелея, оказался на своем месте, под блузой, на волосатой груди сапожника.

— Ну, вот остался у меня рупь-целковый, — со вздохом подумал Пантелей. — А что на него сделаешь? Эх!..

Пошел и купил на целковый этот полфунта ветчины, коробочку шпрот, булку французскую, полбутылки водки, бутылку пива и десяток папирос — так разошелся, что от всех капиталов только четыре копейки и осталось.

И когда уселся бедняга Пантелей за свой убогий ужин — так ему тяжело сделалось, так обидно, что чуть не заплакал.

— За что же, за что?.. — шептали его дрожащие губы. — Почему богачи и эксплуататоры пьют шампанское, ликеры, едят рябчиков и ананасы, а я, кроме простой очищенной, да консервов, да ветчины — света Божьего не вижу... О, если бы только мы, рабочий класс, завоевали себе свободу!.. То-то бы мы пожили по-человечески!

Однажды, весной 1920 года рабочий Пантелей Грымзин получил свою поденную плату за вторник: всего 2700 рублей.

— Что ж я с ними сделаю, — горько подумал Пантелей, шевеля на ладони разноцветные бумажки. — И подметки к сапогам нужно подбросить, и жрать, и выпить чего-нибудь — смерть хочется!

Зашел Пантелей к сапожнику, сторговался за две тысячи триста и вышел на улицу с четырьмя сиротливыми сторублевками.

Купил фунт полубелого хлеба, бутылку сидро, осталось 14 целковых. Приценился к десятку папирос, плюнул и отошел.

Дома нарезал хлеба, откупорил сидро, уселся за стол ужинать... и так горько ему сделалось, что чуть не заплакал.

— Почему же, — шептали его дрожащие губы, — почему богачам все, а нам ничего... Почему богач ест нежную розовую ветчину, объедается шпротами и белыми булками, заливает себе горло настоящей водкой, пенистым пивом, курит папиросы, а я, как пес какой, должен жевать черствый хлеб и тянуть тошнотворное пойло на сахарине!.. Почему одним все, другим — ничего?..

Эх, Пантелей, Пантелей... Здорового ты дурака сваял, братец ты мой!

# Новая русская сказка

## **(Вместо предисловия)**

Матери!

Вот уже несколько лет вы бессознательно обманываете ваших детей, рассказывая им старый ложный вариант сказки о Красной Шапочке и Сером Волке.

Пора, наконец, открыть вам глаза на истинное положение вещей, пора пролить свет истины на клеветническое измышление о бедном добродушном Сером Волке!.. Вот как было дело:



## Сказка о Красной Шапочке, об одном заграничном мальчике и о Сером Волке

У одного отца было три сына: до первых двух нам нет дела, а младший был дурак.

Состояние его умственных способностей видно из того, что когда у него родилась и подросла дочь — он подарил ей красную шапочку.

Почему именно красную?

Именно потому, что дурак красному рад.

И вот однажды зовет дуракова жена дочку и говорит ей:

— Нечего зря баклуши бить! Отнеси бабушке горшочек маслица, лепешечку да штоф вина: может, старуха наклюкается, протянет ноги, а мы тогда все ее животишки и достатки заберем.

— Я, конечно, пойду, — отвечает Красная Шапочка. — Но только, чтобы идти не больше восьмичасового рабочего дня. А насчет бабушки — это мысль.

Перемигнулись; хихикнула Красная Шапочка и, напялив свой дурацкий головной убор, пошла к бабушке.

Идти пришлось лесом. Идет, «Интернационал» напевает, красную гвоздику рвет.

Вдруг из-за куста выходит некий таинственный мальчик и говорит:

— Позвольте представиться: заграничный мальчик Лев Троцкий. Чего несете? О-о, да тут прекрасные вещи! Дай-ка, я их тово... Да ты не плачь — я ведь тебе стаканчик-другой поднесу.

— А что же я бабушке-то скажу?

— Скажи — Серый русский Волк слопал. Вали, как на мертвого.

Пришла, пошатываясь, к бабушке Красная Шапочка. Старуха к ней:

— Принесла?

— Да, как же! Держи карман шире. Разве этот грабитель, Серый Волк, пропустит — все слопал!

Только облизнулась бедная старуха.

А в это время, как известно, жил-был у бабушки Серенький Козлик. Вздумалось козлику в лес погуляти.

— Отпусти ты его, буржуя, — советует Красная Шапочка. — Пусть идет в лес. Довольно ему, саботажнику, дома лодырничать. Как говорится: все на фронт.

Отпустила бабушка Серенького Козлика в сопровождении Красной Шапочки, а той только того и нужно. Едва вошли в лес — из-за куста давешний мальчик:

— А что, товарищ, не слопать ли нам козла?

— А что я бабушке скажу?

Подмигнул мальчик, хихикнул.

— А Серый русский Волк на что? Вали на него — вывезет. Кстати, старуха-то сама фартовая? Клев есть?

— Да ежели потрясти — есть чего. Только на мокрое дело я не пойду. Чтобы без убийства.

— А Серый Волк на что? Свалим на эту скотину. Айда!

Пошли и «пришили» старушку.

Зажили в старухином доме припеваючи. Мальчик на старухиной кровати развалился, целый день валяется, а Красная Шапочка по хозяйству хлопочет, сундуки взламывает.

А в это время по всему лесу пошел нехороший и для Добродушного Серого Волка позорный слух: что будто бы он не только людей провизии и продуктов лишает, не только буржуазного козленка зарезал, но и самое бабушку прикончил.

Обидно стало Серому. Пойду, думает, к старухе, лично все выясню.

Приходит — те-те-те! Полуштоф пустой на столе стоит, на стене козлиная шкура, а Красная Шапочка уже в бабушкиных нарядах щеголяет.

— Ловко сработано, — с горечью подумал Серый Волк.

Подошел к Троцкому, подсел на краешек кровати и спрашивает:

— Отчего у тебя такой язык длинный?

— Чтобы на митингах орать.

— Отчего у тебя такой носик большой?

— При чем тут национальность?

— Отчего у тебя большие ручки?

— Чтобы лучше сейфы вскрывать! Знаешь наш лозунг: грабь награбленное!

— Отчего у тебя такие ножки большие?

— Идиотский вопрос! А чем же я буду, когда засыплюсь, в Швейцарию убежать?!

— Ну, нет, брат, — вскричал Волк и в тот же миг — гам! — и съел заграничного мальчика, сбил лапой с головы глупой девчонки красную шапочку, и, вообще, навел Серый такой порядок, что снова в лесу стало жить хорошо и привольно.

Кстати, в прежнюю старую сказку, в самый конец, впутался какой-то охотник.

В новой сказке — к черту охотника.

Много вас тут, охотников, найдется к самому концу приходить...

## Короли у себя дома

Все почему-то думают, что коронованные особы — это какие-то небожители, у которых на голове алмазная корона, во лбу звезда, а на плечах горностаевая мантия, хвост которой волочится сажени на три сзади.

Ничего подобного. Я хорошо знаю, что в своей частной, интимной жизни коронованные особы живут так же обывательски просто, как и мы, грешные.

Например, взять Ленина и Троцкого.

На официальных приемах и парадах они — одно, а в своей домашней обстановке — совсем другое. Никаких громов, никаких перунов.

Ну, скажем, вот:

Серенькое московское утро. Кремль. Грановитая палата.

За чаем мирно сидят Ленин и Троцкий.

Троцкий, затянутый с утра в щеголеватый френч, обутый в лакированные сапоги со шпорами, с сигарой, вставленной в длинный янтарный мундштук, — олицетворяет собой плавное, сильное, мужское начало в этом удивительном супружеском союзе. Ленин — madame, представитель подчиняющегося, более слабого, женского начала.

И он одет соответственно затрепанный халатик, на шее нечто вроде платка, потому что в Грановитой палате всегда несколько сыровато, на ногах красные шерстяные чулки от ревматизма и мягкие ковровые туфли.

Троцкий, посасывая мундштук, совсем, с головой, ушел в газетный лист; Ленин перетирает полотенцем стаканы.

Молчание. Только самовар напевает свою однообразную вековую песенку.

— Налей еще, — говорит Троцкий, не отрывая глаз от газеты.

— Тебе покрепче или послабее?

Молчание.

— Да брось ты свою газету! Вечно уткнет нос так, что его десять раз нужно спрашивать.

— Ах, оставь ты меня в покое, матушка! Не до тебя тут.

— Ага! Теперь уже не до меня! А когда сманивал меня из-за границы в Россию, — тогда было до меня!.. Все вы, мужчины, одинаковы.

— Поехала!

Троцкий вскакивает, нервно ходит по палате, потом останавливается. Сердито:

— Кременчуг взят. На Киев идут. Понимаешь?

— Что ты говоришь! А как же наши доблестные красные полки, авангард мировой революции?..

— Доблестные? Да моя бы воля, так я бы эту сволочь...

— Левушка... Что за слово...

— Э, не до слов теперь, матушка. Кстати: ты транспорт-то со снарядами послала в Курск?

— Откуда же я их возьму, когда тот завод не работает, этот бастует... Рожу я тебе их, что ли? Ты вот о чем подумай!

— Да? Я должен думать?! Обо всем, да? Муж и войой, и страну организуй, и то и се, а жена только по диванам валяется да глупейшего Карла Маркса читает? Эти романчики пора уже оставить...

— Что ты мне своей организацией глаза колешь?! — вспыхнул Ленин, нервно отбрасывая мокрое полотенце. — Нечего сказать — организовал страну: по улицам пройти нельзя: или рабочий мертвый лежит, или лошадь дохлая валяется.

— А чего ж они, подлецы, не убирают... Я ведь распорядился. Господи! Простой чистоты соблюсти не могут.

— Ах, да разве только это? Ведь нам теперь и глаз к соседям не покажи — засмеют. Устроили страну, нечего сказать; на рынке ни к чему приступу нет — курица 8000 рублей, крупа — 3000, масло... э, да и что там говорить!! Ходишь на рынок, только расстраиваешься.

— Ну, что ж... разве я тебе в деньгах отказывал? Не хватает — можно подпечатать. Ты скажи там, в экспедиции заготовления...

— Э, да разве только это. А венгерская социальная революция... Курам на смех! Твой же этот самый придворный поэт во всю плотку кричал:

Мы на горе всем буржуям,  
Мировой пожар раздуем...

— Раздули пожар... тоже! Хвалилась синица море зажечь. Ну, с твоей ли головой такой страной управлять, скажи, пожалуйста?!

— Замолчишь ли ты, проклятая баба! — гаркнул Троцкий, стукнув кулаком по столу. — Не хочешь, не нравится — скатертью дорога!

— Скатертью? — вскричал Ленин и подбоченился. — Это куда же скатертью? Куда я теперь поеду, когда, благодаря твоей дурацкой войне, мы со всех сторон окружены? Завлек, поиграл, поиграл, а теперь вышвыриваешь, как старый башмак? Знала бы — лучше пошла бы за Луначарского.

Бешеный огонь ревности сверкнул в глазах Троцкого.

— Не смей и имени этого соплашателя произносить!! Слышишь? Я знаю, ты ему глазки строишь, и он у тебя до третьего часу ночи просиживает; имей в виду: застану — искалечу. Это что еще? Слезы? Черт знает что! Каждый день скандал — чаю не дадут дома спокойно выпить! Ну, довольно! Если меня спросят — скажи, я поехал принимать парад доблестной красной армии. А то, если этих мерзавцев не подтягивать... Поняла? Положи мне папирос в портсигар да платок сунь в карман чистый! Что у нас сегодня на обед?

Вот как просто живут коронованные особы.

Горностаи да порфиры — это на людях, а у себя в семье, когда муж до слез обидит, — можно и в затрапезный шейный платок высморкаться.

## Усадьба и городская квартира

Когда я начинаю думать о старой, канувшей в вечность России, то меня больше всего умиляет одна вещь: до чего это была богатая, изобильная, роскошная страна, если последних три года повального, всеобщего, равного, тайного и явного грабежа — все-таки не могут истощить всех накопленных старой Россией богатств.

Только теперь начинаешь удивляться и разводить руками:

— Да что ж это за хозяин такой был, у которого даже после смерти его — сколько ни тащат, все растащить не могут...

Большевики считали все это «награбленным» и даже клич такой во главу угла поставили:

— Грабь награбленное.

Ой, не награбленное это было. Потому что все, что награблено, никогда впрок не идет: тут же на месте пропивается, проигрывается в карты, раздаривается дамам сердца грабителей — «марухам» и «шмарам».

А старая Россия не грабила; она накапливала.

Закрою я глаза — и чудится мне старая Россия большой помещичьей усадьбой...

Вот миновал мой возок каменные, прочно сложенные, почерневшие от столетий ворота, и уже несут меня кони по длинной без конца-края липовой аллее, ведущей к фасаду русского, русского, русского — такого русского, близкого сердцу дома с белыми колоннами и старым-престарым фронтоном.

Солнце пробивается сквозь листву лип, и золотые пятна бегают по дорожке и колеблются, как живые...

А на террасе уже стоит вальяжный, улыбающийся хозяин и радостно приветствует меня.

Объятия, троекратные поцелуи, по русскому обычаю, и первый вопрос:

— Обедали?

И праздный вопрос, потому что мой ответ все равно не нужен хозяину: пусть сытый гость лопнет по всем швам, но обедом он будет накормлен...

Те же золотые пятна бегают уже по белоснежной скатерти, зажигаются рубинами на домашней наливке, вспыхивают изумрудами на смородиновке, настоящей на молодых остропахнувших листьях, и уже дымится перед гостем и хозяином наваристый борщ и пыжится пухлая, как пуховая перина, кулебяка...

— А вы пока маринованных грибков — домашние! И вот рыбки этой — из собственного пруда. А квасом — прямо говорю — могу похвастаться; в нос так и шибает — сама жена у меня по этому делу ходок...

Тихо прячется за березовую рощу красное утомленное солнце. Смягченная далью, грустно и красиво доносится еле слышная песня косарей.

— Эй, — кричит кому-то вниз разошедшийся хозяин. — По случаю приезда дорогого гостя — выдать косарям по две чарки водки! А вы, голубчик, не устали ли? Может, отдохнуть хотите? Пойдемте, покажу вашу комнату...

В моей комнате уже зажжена лампа... Усталые ноги мягко ступают по толстым половикам, а взор так и тянется к свежим холодноватым простыням раскрытой постели...

— Вот вам спички, вот свеча, вот графин грушевого квасу — вдруг да пить ночью захотите. Да вы, может, быть, съели бы чего-нибудь на ночь? Перепелочки есть, осетрина холодная... Нет? Ну, Господь с вами. Спите себе.

Я один... Подхожу к этажерке, что важно выпятилась в углу сотней прочных кожаных книжных переплетов, начинаю перебирать книги: Гоголь, Достоевский, Толстой, Успенский...

Почитаю...

Ах, как хорошо в русской России почитать русскому человеку русского писателя, ах, как хорошо знать, что ты под гостеприимным кровом русского приветливого хлебосола, что, когда ты погасишь лампу, в окно к тебе будут заглядывать бледные русские звезды, а за окном тихо и ласково будут перешептываться о твоих делах на своем непонятном языке скромные, застенчивые русские березки и елочки...

Все задремывает... И разнокалиберная шумливая птица в птичнике, и толстая, неповоротливая, обильно кормленная и поенная скотина в хлеву, и золотой хлеб в закромах, и свертки плотного



домотканого полотна в темных, окованных железом укладках, и старые седые бутылки в дедовском погребе спит — плотное, солидное, накопленное не в год и не на год, а так, что еще и внукам останется...

С расчетом жили люди, замахиваясь в своих делах и планах на десятки лет, жили плотно, часто лениво, иногда скучно, но всегда сытно, но всегда нося в себе эволюционные семена более горячего, более живого и бойкого будущего... Все стояло на своем месте, и во всем был так необходимый простому русскому сердцу уют.

А теперь новая русская «власть» живет не в дедовской помещичьей усадьбе, а в городе: съехали жильцы с квартиры, так вот теперь эти новые и взяли покинутую квартиру, значит.

Ясно, что когда с квартиры съезжают, она — какой вид имеет: голые стены, с оторванными кое-где обоями, с ярко-желтыми прямоугольниками в тех местах, где стоял комод или шкаф... В выбитое окно тянет сырым ветерком, на полу обрывки веревок, окурки, какие-то рваные бумажки, два-три аптечных пузырька с выцветшим рецептом, в углу поломанный, продавленный стул, брошенный за ненадобностью.

Переехала сюда «новая власть»... Нет у нее ни мебели, ни ковров, ни портретов предков...

Переехали — даже комнат не подмели...

На окнах появились десятки опорожненных бутылок, огрызков засохшей колбасы, в угол поставили утащенный откуда-то роскошный шелковый диван с ободраным боком и около него примостили опрокинутый пивной бочонок, в виде ночного столика.

На стене на огромных крюках — ружья, в углу обрывок израсходованной пулеметной ленты и старые полуистлевшие обмотки.

Сор на полу так и не подметают, и нога все время наталкивается то на пустую консервную коробку, то на расплюснутую голову селедки...

Приходит новый хозяин. В мокрой, пахнущей кислым шинели, отяжелевший от спирта-сырца, валится прямо на диван.

А в бывшем кабинете помещаются угрюмые латыши, а в бывшей детской, где еще валяется забытый игрушечный зайчонок с оторванными лапами, спят вонючие китайцы и «красные башкиры»...

Никто из живущих в этой квартире не интересуется ею, и никто не собирается устроиться в ней по-человечески.

Никому и в голову не придет вставить разбитые стекла, вымести сор, разостлать белые с синей каймой половички, развесить любимые портреты, застлать кровать чистой простыней.

Зачем? День прошел, и слава Интернационалу. День да ночь — сутки прочь.

Никто не верит в возможность устроиться в новой квартире хоть года на три...

Стоит ли? А вдруг придет хозяин и даст по шеем.

Так и живут. Зайдет этакий в квартиру, наследит сапогами, плюнет, бросит окурок, размажет для собственного развлечения на стене клопа и пойдет по своим делам: расстреливать контрреволюционера и пить спирт-сырец.

Неприятно живет, по-собачьему.

Таков новый хозяин новой России.

## Хлебушко

У главного подъезда монументального здания было большое скопление карет и автомобилей.

Мордастый швейцар то и дело покрикивал на нерасторопных кучеров и тут же низкими поклонами приветствовал господ во фраках и шитых золотом мундирах, солидно выходящих из экипажей и автомобилей.

Худая деревенская баба в штопаных лаптях и белом платке, низко надвинутым на загорелый лоб, робко подошла к швейцару.

Переложила из одной руки в другую узелок и поклонилась в пояс...

— Тебе чего, убогая?

— Скажи-ка мне, кормилец, что это за господа такие?

— Междусоюзная конференция дружественных держав по вопросам мировой политики!

— Вишь ты, — вздохнула баба в стоптанных лапотках. — Сподобилась видеть.

— А ты кто будешь? — небрежно спросил швейцар.

— Россия я, благодетель, Россеюшка. Мне бы тут за колонкой постоять да хоть одним глазком поглядеть: каки-таки бывают конференции. Может, и на меня, сироту, кто-нибудь глазком зиркнет да обратит свое такое внимание.

Швейцар подумал и, хотя был иностранец, но тут же сказал целую строку из Некрасова:

— «Наш не любит оборванной черни»... А впрочем, стой — мне что.

По лестнице всходили разные: и толстые, и тонкие, и оципанные, во фраках, и дородные, в сверкающих золотом сюртуках с орденами и лентами.

Деревенская баба всем низко кланялась и смотрела на всех с робким испугом и тоской ожидания в слезящихся глазах.

Одному — расшитому золотом с ног до головы и обвешанному целой тучей орденов — она поклонилась ниже других.

— Вишь ты, — тихо заметила она швейцару. — Это, верно, самый главный!

— Какое! — пренебрежительно махнул рукой швейцар. — Внимания не стоит. Румын.

— А какой важный. Помню, было время, когда у меня под окошком на скрипочке пиликал, а теперь — ишь ты! И где это он так в орденах вывалялся?..

И снова на лице ее застыло вековечное выражение тоски и терпеливого ожидания... Даже зависти не было в этом робком сердце.

Английский дипломат встал из-за зеленого стола, чтобы размяться, подошел к своему коллеге-французу и спросил его:

— Вы не знаете, что это там за оборванная баба около швейцара в вестибюле стоит?

— Разве не узнали? Россия это.

— Ох, уж эти мне бедные родственники! И чего ходит, спрашивается? Сказано ведь: будет время — разберем и ее дело. Стоит с узелком в руке и всем кланяется... По-моему, это шокинг.

— Да... Воображаю, что у нее там в узле... Наверное, полкаравая деревенского хлеба, и больше ничего.

— Как вы говорите?.. хлеб?

— Да. А что ж еще?

— Вы... уверены, что там у нее хлеб?

— Я думаю.

— Гм... да. А впрочем, надо бы с ней поговорить, расспросить ее. Все-таки мы должны быть деликатными. Она нам в войну здорово помогла. Я — сейчас!

И англичанин поспешно зашагал к выходу.

Вернулся через пять минут, оживленный:

— Итак... На чем мы остановились?

— Коллега, у вас на подбородке крошки...

— Гм... Откуда бы это? А вот мы их платочком.

Увязывая свой похудевший узелок, баба тут же быстро и благодарно крестилась и шептала швейцару.

— Ну, слава Богу... Сам-то обещал спомочь. Теперь, поди, недолго и ждать.

И побрела восвояси, сгорбившись и тяжело ступая усталыми ногами в стоптанных лапотках.

# Эволюция русской книги

## Этап первый (1916 год)

— Ну, у вас на этой неделе не густо: всего три новых книги вышло. Отложите мне «Шиповник» и «Землю». Кстати, есть у вас «Любовь в природе» Бельше? Чье издание? Сытина? Нет, я бы хотел саблинское. Потом, нет ли «Дети греха» Катюль Мендеса? Только, ради Бога, не «Сфинкса» — у них перевод довольно неряшлив. А это что? Недурное издание. Конечно, Голике и Вильборг? Ну, нашли тоже, что роскошно издавать: «Евгений Онегин» — всякий все равно наизусть знает. А чьи иллюстрации? Самокиш-Судковской? Сладковаты. И потом формат слишком широкий: лежа читать неудобно!..

## Этап второй (1920 год)

— Барышня! Я записал по каталогу вашей библиотеки 72 названия — и ни одного нет. Что ж мне делать?

— Выберите что-нибудь из той пачки на столе. Это те книги, что остались.

— Гм! Вот три-четыре более или менее подходящие: «Описание древних памятников Олонецкой губернии», «А вот и она — вновь живая струна», «Макарка Душегуб» и «Собрание речей Дизраэли (лорда Биконсфилда)»...

— Ну, вот и берите любую.

— Слушайте... А «Памятники Олонецкой губернии» — интересная?

— Интересная, интересная. Не задерживайте очереди.

## Этап третий

— Слышали новость?!!

— Ну, ну?

— Ивиковы у себя под комодом старую книгу нашли! Еще с 1917 года завалялась! Везет же людям. У них по этому поводу вечеринка.

— А как называется книга?

— Что значит как: книга! 480 страниц! К ним уже записались в очередь Пустошкины, Бильдяевы, Россомахины и Партачевы.

— Побегу и я.

— Не опоздайте. Ивиковы, кажется, собираются разорвать книгу на 10 тоненьких книжечек по 48 страниц и продать.

— Как же это так: без начала, без конца?

— Подумаешь — китайские церемонии.



## Этап четвертый

Публикация:

«Известный чтец наизусть стихов Пушкина ходит по приглашению на семейные вечера — читает всю „Полтаву“ и всего „Евгения Онегина“. Цены по соглашению. Он же дирижирует танцами и дает напрокат мороженицу».

Разговор на вечере:

— Слушайте! Откуда вы так хорошо знаете стихи Пушкина?

— Выучил наизусть.

— Да кто ж вас выучил: сам Пушкин, что ли?

— Зачем Пушкин. Он мертвый. А я, когда еще книжки были, — так по книжке вызубрил.

— А у него почерк хороший?

— При чем тут почерк? Книга напечатана.

— Виноват, это как же?

— А вот делали так: отливали из свинца буквочки, ставили одну около другой, мазнут сверху черной краской, приложат к белой бумаге да как даванут — оно и отпечатается.

— Прямо чудеса какие-то! Не угодно ли присесть! Папирочку! Оля, Петя, Гуля — идите послушайте, мусье Гортанников рассказывает, какие штуки выделял в свое время Пушкин! Мороженицу тоже лично от него получили?

## Этап пятый

— Послушайте! Хоть вы и хозяин только мелочной лавочки, но, может быть, вы поймете вопль души старого русского интеллигента и снизойдете.

— А в чем дело?

— Слушайте... Ведь вам ваша вывеска на ночь, когда вы запираете лавку, не нужна? Дайте мне ее почитать на сон грядущий — не могу заснуть без чтения. А текст там очень любопытный — и мыло, и свечи, и сметана — обо всяком таком описано. Прочту — верну.

— Да все вы так говорите, что вернете. А намедни один тоже так-то вот — взял почитать доску от ящика с бисквитами Жоржа Бормана, да и зачитал. А там и картиночка, и буквы разные... У меня тоже, знаете ли, сын растет!..

## Этап шестой

— Откуда бредете, Иван Николаевич?

— А за городом был, прогуливался. На виселицы любовался, поставлены у заставы.

— Тоже нашли удовольствие на виселицы смотреть!

— Нет, не скажите. Я, собственно, больше для чтения: одна виселица на букву «Г» похожа, другая — на «И» — почитал и пошел. Все-таки чтение — пища для ума.

## Русский в Европах

Летом 1921 года, когда все «это» уже кончилось, — в курзале одного заграничного курорта собралась за послеобеденным кофе самая разношерстная компания были тут и греки, и французы, и немцы, были и венгерцы, и англичане, один даже китаец был...

Разговор шел благодушный, послеобеденный.

— Вы, кажется, англичанин? — спросил француз высокого бритого господина. — Обожаю я вашу нацию: самый дельный вы, умный народ в свете.

— После вас, — с чисто галльской любезностью поклонился англичанин — Французы в минувшую войну делали чудеса... В груди француза сердце льва.

— Вы, японцы, — говорил немец, попыхивая сигарой, — изумляли и продолжаете изумлять нас, европейцев. Благодаря вам слово «Азия» перестало быть символом дикости, некультурности.

— Недаром нас называют «немцами Дальнего Востока», — скромно улыбнувшись, ответил японец, и немец вспыхнул от удовольствия, как пук соломы.

В другом углу грек тужился, тужился и наконец сказал:

— Замечательный вы народ, венгерцы!

— Чем? — искренно удивился венгерец.

— Ну, как же... Венгерку хорошо танцуете. А однажды я купил себе суконную венгерку, расшитую разными этакими штуками. Хорошо носилась! Вино опять же, нарезать венгерским — самое святое дело.

— И вы, греки, хорошие.

— Да что вы говорите?! Чем?

— Ну... вообще. Приятный такой народ. Классический. Маслины вот тоже. Периклы всякие.

А сбоку у стола сидел один молчаливый бородатый человек и, опустив буйную голову на ладони рук, сосредоточенно печально молчал.

Любезный француз давно уже поглядывал на него. Наконец, не выдержал, дотронулся до его широкого плеча:

— Вы, вероятно, мсье, турок? По-моему — одна из лучших наций в мире!

— Нет, не турок.

— А кто же, осмелюсь спросить?

— Да так, вообще, приезжий. Да вам, собственно, зачем?

— Чрезвычайно интересно узнать.

— Русский я!!

Когда в тихий дремлющий летний день вдруг откуда-то сорвется и налетит порыв ветра, как испуганно и озабоченно закачаются, зашелестят верхушки деревьев, как беспокойно завозятся и защебечут примолкшие от зноя птицы, какой тревожной рябью вдруг подернется зеркально-уснувший пруд!

Вот так же закачались и озабоченно, удивленно защебетали венгерские, французские, японские головы; так же доселе гладкие зеркально-спокойные лица подернулись рябью тысячи самых различных взаимно борющихся между собою ощущений.

— Русский? Да что вы говорите? Настоящий?

— Детки! Альфред, Мадлена! Вы хотели видеть настоящего русского — смотрите скорее! Вот он, видите, сидит.

— Бедняга!

— Бедняга-то бедняга, да я давеча, когда расплачивался, бумажник два раза вынимал. Переложить в карманы брюк, что ли?

— Смотрите, вон русский сидит.

— Где, где?! Слушайте, а он бомбу в нас не бросит?

— Может, он голодный, господа, а вы на него вызверились. Как вы думаете, удобно ему предложить денег?

— Немца бы от него подальше убрать. А то немцы больно уж ему насолили... как бы он его не тово!

Француз сочувственно, но с легким оттенком страха жал ему руку, японец ласково с тайным соболезнаванием в узких глазках гладил его по плечу, кое-кто предлагал сигару, кое-кто плотней застегнулся. Заботливая мать, захватив за руки плачущего Альфреда и Мадлену, пыхтя, как буксирный пароход, утащила их домой.

— Очень вас большевики мучили? — спросил добрый японец.

— Скажите, а правда, что в Москве собак и крыс ели?

— Объясните, почему русский народ свергнул Николая и выбрал Ленина и Троцкого? Разве они были лучше?

— А что такое взятка? Напиток такой или танец?

— Правда ли, что у вас сейфы вскрывали? Или, я думаю, это одна из тысячи небылиц, распространенных врагами России... А правда, что, если русскому рабочему запеть «Интернационал», — он сейчас же начинает вешать на фонаре прохожего человека в крахмальной рубашке и очках?

— А правда, что некоторые русские покупали фунт сахару за пятьдесят рублей, а продавали за тысячу?

— Скажите, совнарком и совнархоз опасные болезни? Правда ли, что разбойнику Разину поставили на главной площади памятник?

— А вот, я слышал, что буржуазные классы имеют тайную ужасную привычку, поймав рабочего, прокусывать ему артерию и пить теплую кровь, пока...

— Горит!! — крикнул вдруг русский, шваркнув полупудовым кулаком по столу.

— Что горит? Где? Боже мой... А мы-то сидим...

— Душа у меня горит! Вина!! Эй, кельнер, камерьере, шестерка — как тебя там?! Волоки вина побольше! Всех угощаю!! Поймете ли вы тоску души моей?! Сумеете ли заглянуть в бездну хаотической первозданной души славянской. Всем давай бокалы. Эх-ма! «Умру, похоро-о-нят, как не жил на свете»...

Сгущались темно-синие сумерки.

Русский, страшный, растрепанный, держа в одной руке бутылку Поммери-сек, а кулаком другой руки грозя заграничному небу, говорил:

— Сочувствуете, говорите? А мне чихать на ваше такое заграничное сочувствие!! Вы думаете, вы мне все, все, сколько вас есть, — мало крови стоили, мало моей жизни отняли? Ты, немецкая морда, ты мне кого из Циммервальда прислал? Разве так воюют? А ты, лягушатник, там... «Мон ами, да мон ами, бон да бон», а сам взял да большевикам Крым и Одессу отдал. Разве это боковое дело? Разве это фратерните?<sup>[1]</sup> Разве я могу забыть? А тебе разве я забуду, как ты своих носатых китайских чертей прислал — наш Кремль поганить, нашу дор... доррогую Россию губить, а? А венгерец... тоже и ты хорош: тебе бы мышеловками торговать да венгерку плясать, а ты в социалистические революции полез. Бела Кунов, черт их подери, на престолы сажать... а? Ох, горько мне с вами, ох, тошнехонько... Пить

со мной мое вино вы можете сколько угодно, но понять мою душеньку?! Горит внутри, братцы! Закопал я свою молодость, свою радость в землю сырую... «Умру-у, похоронят, как не-е жил на свете!»

И долго еще в опустевшем курзале, когда все постепенно, на цыпочках, разошлись, — долго еще разносились стоны и рыдания полупьяного одинокого человека, непонятного, униженного в своем настоящем трезвом виде и еще более непонятного в пьяном... И долго лежал он так, неразгаданная мятущаяся душа, лежал, положив голову на ослабевшие руки, пока не подошел метрдотель.

— Господин... Тут счет.

— Что? Пожалуйста! Русский человек за всех должен платить! Получите сполна.

## Осколки разбитого вдребезги

Оба они сходятся у ротонды севастопольского Приморского бульвара, перед закатом, когда все так неожиданно меняет краски: море из зеркально-голубого переходит в резко-синее, с подчеркнутым под верхней срезанной половинкой солнца горизонтом; солнце из ослепительно-оранжевого превращается в огромный полукруг, нестерпимо красного цвета; а спокойное голубое небо, весь день томно дрожавшее от ласк пылкого зноя, к концу дня тоже вспыхивает и загорается ярким предвечерним румянцем, — одним словом, когда вся природа перед отходом ко сну с неожиданной энергией вспыхивает новыми красками и хочет поразить пышностью, тогда сходятся они у ротонды, садятся они на скамеечку под нависшими ветвями маслины и начинают говорить...

У одного красивый старческий профиль чрезвычайно правильного рисунка, маленькая белая, очень чистенькая бородка и черные, еще живые глаза. Он петербуржец, бывший сенатор, на всех торжествах появлялся в шитом золотом мундире и белых панталонах; был богат, щедр, со связями. Теперь на артиллерийском складе поденно разгружает и сортирует снаряды.

Другой — маленький рыжий старичок, с бесцветным петербургским личиком и медлительными движениями человека, привыкшего повелевать. Он был директором огромного металлургического завода, считавшегося первым на Выборгской стороне. Теперь он — приказчик комиссионного магазина и в последнее время приобрел даже некоторую опытность в оценке поношенных дамских капотов и плюшевых детских медведей, приносимых на комиссию.

Сойдясь и усевшись друг против друга, они долго молчат, будто раскачиваясь; да и в самом деле раскачивают головами, как два белых медведя во время жары в бассейне зоологического сада.

Наконец, первым раскачивается сенатор.

— Резкие краски, — говорит он, указывая на горизонт. — Нехорошо.



— Аляповато, — укоризненно соглашается приказчик комиссионного магазина, — все краски на палитре не смешаны, все краски грубо подчеркнуты.

— А помните наши петербургские закаты...

— Ну!!

— Небо — розовое с пепельным, вода — кусок розового зеркала, все деревья — темные силуэты, как вырезанные. Темный рисунок Казанского собора на жемчужном фоне...

— И не говорите! Не говорите! А когда зажгут фонари Троицкого моста...

— А кусочек канала, где Спас на Крови...

— А тяжелая арка в конце Морской, где часы...

— Не говорите!

— Ну скажите: что мы им сделали? Кому мы мешали?

— Не говорите!

Оба старика поникают головами... Потом один из них снова распускает белые паруса сладких воспоминаний и несется в быстрой чудесной лодке, убаюкиваемый — все назад, назад, назад...

— Помните постановку «Аиды» в Музыкальной драме?

— Да уж Лапицкий был — ловкая шельма! Умел сделать. Бал у Лариных, например, в «Онегине», а?

— А второй акт «Кармен»?

— А оркестр в «Мариинке»? Помните, как вступят скрипки да застонут виолончели!

— Господи, думаешь: где же это я — на земле или на небе?

— Ах, Направник, Направник!..

Сенаторская голова, седая голова с профилем римского патриция, никнет...

Рядом два восточных человека, в изумительно выутюженных белых костюмах и безукоризненных воротничках, тоже перебрасываются тихими фразами:

— С утра только я и успел взять из таможи 7 ящичков лимонов и 12 — спичек. Понимаешь?

— А Амбарцун?

— Амбарцуна мануфактурой завалили.

— А Вилли Ферреро в Дворянском Собрании?! Это Божье чудо, это будто Христос в детстве вторично спустился на землю!.. Половина

публики тихо рыдала...

— А что с какао?

— Амбарцуна какаоом завалили.

— Чего я никогда уже, вероятно, не услышу, — это игры Гофмана...

— А помните, как Никиш...

Из ресторана ветерок доносит дразнящий запах жареного мяса.

— Вчера с меня за отбивную котлету спросили 8 тысяч...

— А помните «Медведя»?

— Да. У стойки. Правда, рюмка лимонной водки стоила полтинник, но за этот же полтинник приветливые буфетчики буквально навязывали вам закуску: свежую икру, заливную утку, соус кумберленд, салат оливье, сыр из дичи.

— А могли закусить и горяченьким: котлетками из рябчика, сосисочками в томате, грибочками в сметане... Да!! Слушайте — а расстегаи?!

— Ах, Судаков, Судаков!..

— Мне больше всего нравилось, что любой капитал давал тебе возможность войти в соответствующее место: есть у тебя 50 рублей — пойдешь к Кюба, выпей рюмочку мартеля, проглоти десяток устриц, запей бутылочкой шабли, заешь котлеткой даньон, запей бутылочкой поммери, заешь гурьевской кашей, запей кофе с джинжером... Имеешь 10 целковых — иди в «Вену» или в «Малый Ярославец». Обед из пяти блюд с цыпленком в меню — целковый, лучшее шампанское 8 целковых, водка с закуской 2 целковых... А есть у тебя всего полтинник — иди к Федорову или к Соловьеву: на полтинник и закусишь, и водки выпьешь, и пивцом зальешь...

— Эх, Федоров, Федоров!.. Кому это мешало?..

— А летом в «Буфф» поедешь: музыка гремит, на сцене Тамара «Боккаччо» изображает... Помните? Как это она: «Так надо холить по-о-чку»... Ах, Зуппе! Ах, Оффенбах!..

Восточные человеки наговорились о своих делах, прислушиваются к разговору сенатора и директора завода. Слушают, слушают — и полное непонимание на их лицах, украшенных солидными носами... На каком языке разговор?..

— А «Маскотта»? «Сядем в почтовую карету, скорей»... А Джонсовская «Гейша»?.. «Глупо, наивно попала в сети я»...

— Ну!.. А «Луна-Парк»!  
— А Айседора!  
— А премьеры в Троицком или в Литейном!!  
— А пуант с Фелисьеном и ужинами под румын, у воды!..  
— А аттракционы в Вилла Роде?..  
— А откровения психографолога Моргенштерна! Хе-хе...  
— А разве лезло утром кофе в горло без «Петербургской Газеты»?!

— Да! С романом Брешки внизу! Как это он: «Виконт надел галифе, засунул в карман парабеллум, затянулся „Боливаром“, вскочил на гунтера, дал шенкеля и поскакал к авантюристу Петко Мирковичу!» Слова-то все какие подобраны, хе-хе...

— А «Сатирикон» по субботам! С утра торопишь Агафью чтобы сбегала за угол за журналом...

— А премьеры Андреевских пьес... Какое волнующее чувство.

— А когда художественники приезжали...

И снова склоненные головы, и снова щемящий душу рефрен:

— Чем им мешало все это...

Подходит билетер с книжечкой билетов и девица с огромным денежным ящиком.

— Возьмите билеты, господа...

— Мы... это... нам не надо. Почем билеты?

— По пятьсот...

— Только за то, чтобы посидеть на бульваре?! Пятьсот?..

— Помилуйте, у нас музыка...

— Пойдем, Алексей Валерьяныч...

Понурившись, уходят. У выхода приостанавливаются.

— А наш Летний сад, помните? Эти дряхлые статуи, скамеечки... Музыка тоже играла...

— А «Канавка у Дворца»... «Уж полночь, а Германна все нет»! Какие голоса были!.. Ах, Лиза, Лиза!..

— За что они Россию так?..

## **Примечания**

**1**

Братство (франц. fraternite).